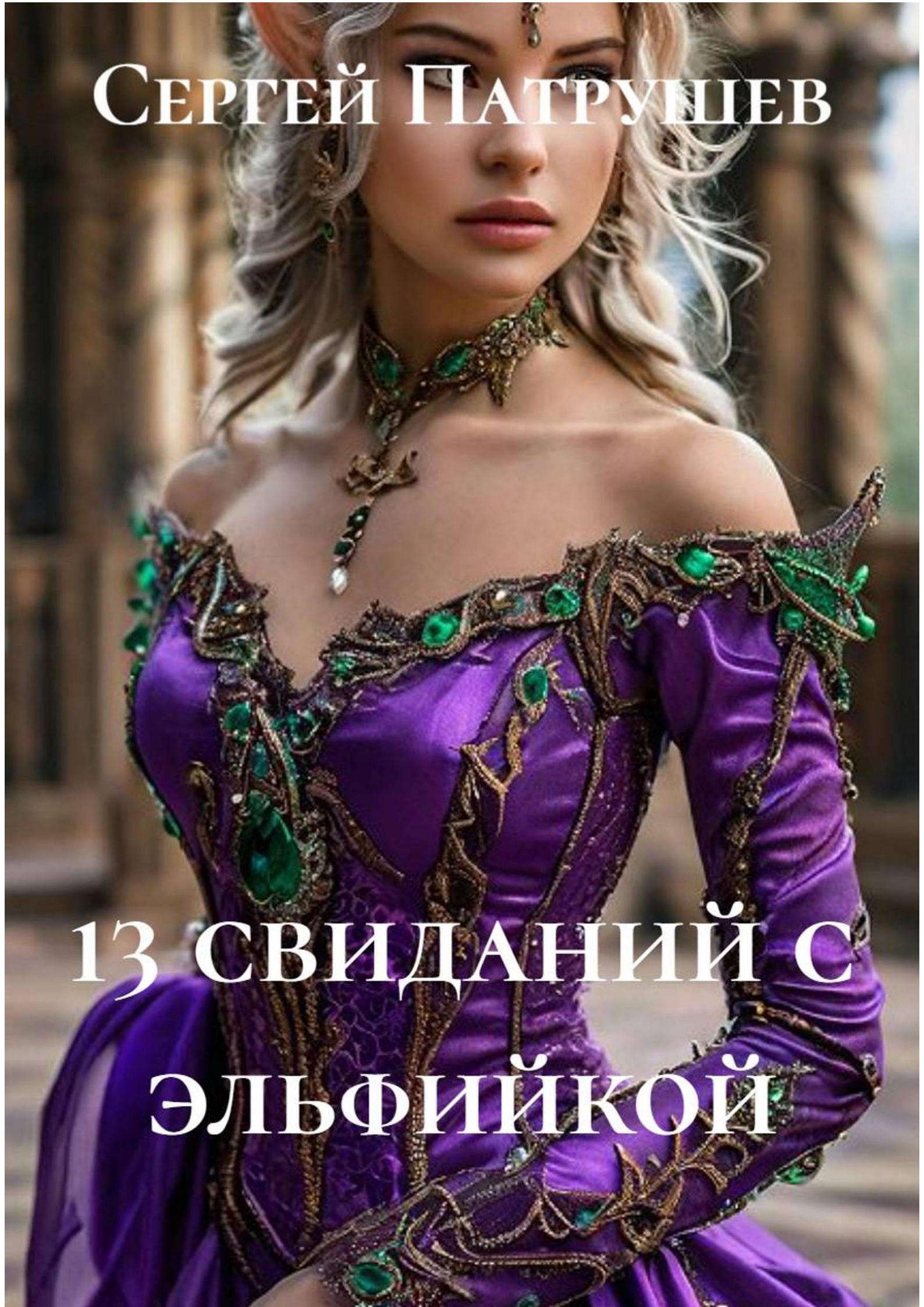




СЕРГЕЙ ПАТРУШЕВ

13 СВИДАНИЙ С
ЭЛЬФИЙКОЙ

Сергей Патрушев

13 свиданий с эльфийкой

«Автор»

2026

Патрушев С.

13 свиданий с эльфийкой / С. Патрушев — «Автор», 2026

Ироничная фэнтези-история о любви, которая не признаёт границ между мирами. Алексей обычный парень, дерзкий и обаятельный, случайно заключает пари с Беллой, прекрасной и надменной эльфийкой, прожившей не одну тысячу лет. Условия просты: тринадцать встреч, за которые он должен влюбить её в мир людей или проиграет и исполнит любое её желание. Что может быть проще? Вот только Белла не привыкла к человеческим странностям: боулинг, караоке, сахарная вата и стиральная машина вызывают у неё то ужас, то неожиданный восторг. С каждой встречей лёд её высокомерия тает, а игра превращается в нечто большее. Но когда совет эльфов требует её возвращения, Белле придётся выбрать между вечностью и одним единственным человеком. Это тёплая, смешная и трогательная история о том, что настоящая магия не заклинания, а умение видеть чудеса в простом.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кофе и Контракт	5
Глава 2. Боулинг и магия точности	11
Глава 3. Парк аттракционов: Страх и Эндорфины	19
Глава 4. Книжный магазин и споры о поэзии	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Сергей Патрушев

13 свиданий с эльфийкой

Глава 1. Кофе и Контракт

В этом городе, где даже сам воздух, казалось, был насквозь пропитан вечной, лихорадочной спешкой, непрерывным гулом автомобильных моторов, пронзительными сигналами клаксонов и тысячами нет, миллионами человеческих судеб, сплетающихся в единый, невообразимо хаотичный узор, существовали места, спрятанные от посторонних глаз столь же надёжно, сколь и драгоценности, покоящиеся в обитой бархатом шкатулке. Эти места не значились на туристических картах, их не обсуждали в модных блогах и не отмечали геолокациями в социальных сетях.

Они принадлежали иному, параллельному измерению города, его тайной, затаившей дыхание душе. Они были подобны тем редким, почти мифическим существам, которых невозможно найти по наводке, лишь случайно наткнуться, заблудившись в хитросплетениях улиц и, наткнувшись, навсегда сохранить в памяти как сокровенное, почти сакральное знание, которым не спешат делиться даже с самыми близкими друзьями, ибо в самом факте обладания такой тайной уже кроется особое, ни с чем не сравнимое удовольствие.

Одним из таких мест была крошечная, почти игрушечная кофейня, затерявшаяся в самом сердце лабиринта старых арбатских переулков, где асфальт, этот вездесущий символ современности, уступал место выщербленной, отполированной тысячами подошв брусчатке, а оглушительный шум мегаполиса, его гулкое, неумолчное дыхание, отступал перед тихим, едва уловимым шёпотом листвы, потревоженной лёгким ветерком.

Далёким, хрустальным перезвоном колоколов, доносящимся откуда-то из-за крыш, словно привет из далёкого прошлого. Казалось, само время в этом уголке старой Москвы обрело иные свойства: оно не ускользало сквозь пальцы, как это происходит повсюду в городе, а медленно, вальяжно разливалось, заполняя собой каждый лепесток чахлой герани, выглядывающей из облупившегося глиняного горшка на подоконнике.

Там, среди потёртых, выдавших виды кирпичных стен, чья кладка помнила, быть может, ещё наполеоновское нашествие, чьи потемневшие швы хранили отголоски пожаров и наводнений, среди стен, увитых диким виноградом, чьи резные листья уже начали окрашиваться в багряные, пурпурные и благородно-золотые тона наступившей ранней осени.

Время, этот неумолимый тиран, замедляло свой бег, становясь вязким, как свежий мёд, а аромат свежемолотых, отборных кофейных зёрен, смешанный с ванилью и тёплым запахом свежей выпечки, обещал каждому вошедшему если не полное спасение от всех бед и тревог, то хотя бы короткую, драгоценную передышку от бесконечной, изматывающей гонки за призрачным, ускользающим счастьем.

Здесь было что-то от тех парижских кафе, которые прославились на весь мир не роскошью убранства, а той удивительной атмосферой, в которой стихи рождаются сами собой, а разговоры незнакомцев легко перетекают в дружбу, а дружба в нечто большее, что остаётся в памяти на всю жизнь.

Именно здесь, в этом рукотворном островке тишины, покоя и обволакивающего уюта, среди потемневших от времени, покрытых благородной патиной деревянных балок, мягкого, приглушённого света латунных ламп и едва слышного тиканья старинных часов, и должна была начаться история, которой суждено было перевернуть, встряхнуть до самого основания и навсегда изменить два совершенно разных, несовместимых, казалось бы, мира.

История, в которой сплетутся в тугую узел человеческая дерзость и эльфийская гордость, мимолётность и вечность, тепло живого сердца и холод бессмертного духа. История, которая, быть может, уже существовала где-то в анналах мироздания, записанная невидимыми чернилами на полях судьбы, и теперь лишь ждала своего часа, чтобы развернуться во всей полноте, затягивая в свой водоворот всех, кто окажется достаточно смел или достаточно глуп, чтобы в неё ввязаться.

Алексей стоял, небрежно прислонившись спиной к прохладной кирпичной стене, всем своим видом выражая спокойствие и уверенность человека, давно и прочно обосновавшегося в этом мире.

Он рассеянно наблюдал за бесконечным, завораживающим танцем пылинок в косом луче закатного солнца, который, словно расплавленное золото, пробивался сквозь узкое, переплетённое коваными решётками окно.

Этот танец, эта молчаливая, хаотичная хореография была похожа на медленный, торжественный вальс крошечных, невесомых светлячков, запертых в янтарной, светящейся клетке. В этом бесхитростном, эфемерном зрелище было что-то поистине гипнотическое, заставляющее забыть о времени и о суете внешнего мира. В такие минуты ему казалось, что всё мироздание это лишь один большой космический танец, в котором каждая галактика движется в едином, непостижимом ритме, и только человек, со своей вечной спешкой, выбивается из этой гармонии, не умея ни остановиться, ни прислушаться к музыке сфер.

Он не был человеком, привыкшим к ожиданию, но сегодняшнее опоздание его спутницы было неотъемлемой частью её натуры, такой же предсказуемой, как и её надменный, ледяной взгляд, как и её манера смотреть на окружающий мир свысока, с высоты своего невообразимого возраста и опыта, словно на нечто досадно-несовершенное, недостойное её пристального внимания.

За время их недолгого, но уже изобиловавшего острыми моментами знакомства он успел выучить её привычки: она никогда не приходила вовремя, но всегда появлялась в самый неожиданный момент, выныривая из тени, словно хищник, дождавшийся, пока жертва потеряет бдительность. Это было частью её игры, её вечной, изматывающей игры в превосходство, и Алексей, к её величайшему раздражению, не только не показывал нетерпения, но, казалось, находил в этом ожидании какое-то извращённое, тайное удовольствие.

В его руках не было традиционного букета цветов, не было нарядной коробки конфет, перевязанной шёлковой лентой, не было флакона дорогих, эксклюзивных духов всех тех ритуальных, предсказуемых подношений, которыми люди привыкли задабривать своих возлюбленных. Лишь два обычных картонных стаканчика, источающих сладкий, обволакивающий аромат ванили и свежих сливок, смешанный с горьковатой, бодрящей ноткой свежесваренного эспresso.

Этот запах, тёплый и манящий, был его единственным оружием и его первым ходом в этой сложной, продуманной до мельчайших деталей партии. Он знал, что розы и пионы для неё пустой звук, лишённый смысла, что бриллианты и изумруды, любые сокровища и драгоценности мира не заставят её сердце биться хоть на удар быстрее, а вот этот напиток, венчающий творение человеческих рук, это жидкое, согревающее совершенство, станет настоящим вызовом, первым, робким, но дерзким шагом в его тонкой, изощрённой игре, правила которой были известны лишь ему одному.

Он мысленно прокручивал в голове все возможные сценарии развития предстоящего разговора, как шахматист, просчитывающий варианты на десять ходов вперёд. Она могла отказаться. Могла принять его дар с ледяной вежливостью и выбросить при первой возможности.

Могла даже оскорбиться. Но Алексей, знавший человеческую и не только человеческую природу лучше, чем кто-либо, понимал: главное задеть её любопытство, этот древнейший из инстинктов, который дремлет в каждом живом существе, даже в тех, кто утверждает, что давно

победил все свои инстинкты. Любопытство. Вот ключ, который способен открыть даже самую неприступную дверь, если повернуть его достаточно терпеливо и с должной долей наглости.

Она появилась из ниоткуда, словно не пришла, а соткалась из сгустившихся сумерек, из причудливых теней, выползающих из тёмных подворотен, из самого дыхания вечера, медленно опускающегося на засыпающий, но всё ещё гудящий город. В её появлении не было ни звука шагов по древней брусчатке, ни шороха одежды, ни сбившегося дыхания. Ничего, что выдавало бы обычное человеческое приближение. Она просто материализовалась в нескольких метрах от него, подобно тому, как на утреннем небе проступает из серой дымки силуэт отдалённой горной вершины, существовавшей там всегда, но лишь теперь ставшей видимой.

Белла. Высокая, статная, с копной платиновых волос, струящихся по хрупким, но гордым плечам, словно расплавленное серебро, словно чистый лунный свет, застывший в живом, осязаемом образе.

Её глаза, цвета грозового неба, в которых застыла бездонная вечность и холодная мудрость тысячелетий, смотрели на мир с холодным, отстранённым, почти энтомологическим любопытством, словно наблюдали за суетой муравейника из непостижимой, недостижимой дали. В этих глазах, казалось, можно было утонуть, как в глубочайшем омуте, но не в тёплой, ласковой воде южных морей, а в ледяных водах северных озёр, где на дне покоятся обломки кораблей и скелеты существ, которых мир не видел уже тысячи лет.

Она не шла, плыла, и, казалось, сам воздух послушно расступался перед ней, а люди, сами того не осознавая, оборачивались ей вслед, замороженные этой нечеловеческой, совершенной, пугающей и манящей одновременно красотой, той красотой, от которой перехватывает дыхание, замирает сердце и наступает странное, сладкое оцепенение.

В её облике не было и тени тепла, ни капли человеческой уязвимости, лишь холодное, отстранённое превосходство существа, видевшего рождение и гибель цивилизаций, наблюдавшего за расцветом и увяданием империй, за взлётом и падением великих династий. Она была эльфийкой, существом из древних, полузабытых легенд, и весь этот мир, со всей его шумной, нелепой, кричащей жизнью, со всей его болью, радостью и отчаянием, был для неё лишь шумной, нелепой, досадной декорацией, сценой, на которой разыгрывается бесконечная, порой занимательная, но по большей части откровенно утомительная комедия под названием «человечество».

Когда-то, в далёкие времена, когда её народ ещё ходил по этой земле открыто, не скрываясь за завесами иллюзий и забвения, эльфы и люди жили бок о бок, и между ними случались союзы, войны, дружба и вражда. Но те времена канули в Лету, растворились в тумане тысячелетий, как утренний иней растворяется под лучами восходящего солнца. Теперь же, глядя на суету человеческого города, на эти бесконечные потоки машин, на мелькающие в витринах экраны с кричащей рекламой, на людей, уткнувшихся в светящиеся прямоугольники, Белла испытывала лишь глухое, усталое разочарование, знакомое каждому, кто пережил слишком многое и утратил способность удивляться.

Алексей улыбнулся, отлепившись от стены с той ленивой, хищной грацией, которая даётся лишь тем, кто абсолютно уверен в себе, в своём праве находиться в этом мире и в своём праве требовать его взаимности. В этой улыбке не было ни подобострастия, ни робости, ни того заискивающего, восторженного обожания, к которому она так привыкла за свою долгую, бесконечно долгую жизнь.

Он смотрел на неё не как на божество, сошедшее с небес, не как на недостижимый идеал, а как на красивую, хоть и невероятно капризную женщину, которая, сама того не ведая, вот станет частью его игры, его замысла, его истории.

В его глазах плясали озорные, дерзкие бесенята, а в уголках губ таилась усмешка человека, знающего нечто такое, чего не знает она, человека, владеющего тайной, способной изменить всё. В этой усмешке было что-то от мальчишеского озорства, смешанного с мудростью

много повидавшего мужа, и это странное сочетание, столь необычное, столь редкое среди людей, невольно приковывало к нему внимание, заставляя приглядываться, всматриваться, пытаться разгадать эту загадку.

Он протянул ей стаканчик, и это простое, обыденное движение было исполнено такого спокойного, врождённого достоинства, такой уверенной, несуетливой элегантности, словно он вручал не картонный стаканчик с кофе, а по меньшей мере королевскую регалию или древний, бесценный артефакт. В этом жесте не было ни тени сомнения, ни грамма неловкости, лишь абсолютная, кристальная уверенность в своём праве так поступать, и именно эта уверенность, а вовсе не сам напиток, впервые заставила Беллу взглянуть на него с искренним, неподдельным интересом.

Белла, не скрывая своего скепсиса, приняла его, её тонкие, аристократичные пальцы, униженные кольцами, каждое из которых могло бы стать сюжетом для отдельной легенды, на мгновение коснулись его кожи. Прикосновение было прохладным, как первый снег, как иней на стекле, как дыхание северного ветра, пролетевшего над ледяными пустынями. Это было прикосновение существа, в жилах которого течёт не кровь, а нечто иное, более древнее и менее тёплое, нечто, чему нет названия в человеческих языках, но что можно почувствовать лишь однажды, испытав на себе, и запомнить навсегда, уже не сумев перепутать ни с чем.

Она поднесла напиток к лицу, принявшись с видом исследователя, обнаружившего в диком племени нечто необъяснимое, не поддающееся логическому анализу, нечто диковинное и странно притягательное. Её тонкие, точеные ноздри затрепетали, улавливая многогранный, сложный аромат: сладость карамели, терпкость тёмного кофе, нежность взбитых сливок, пряную, согревающую нотку корицы.

Это было глубоко чуждо её миру, миру холодной утончённости, кристальной чистоты и изысканной, выверенной веками гармонии, но в то же время странно, пугающе притягательно. Словно в этом простом, незатейливом аромате была заключена какая-то постыдная, запретная, но оттого ещё более манящая правда о людском мире, которую она, сама того не подозревая, жаждала узнать.

Она колебалась, и это колебание, это мгновение нерешительности было заметно лишь тому, кто умел читать язык жестов, микромимики и молчаливых пауз. Алексей умел. Он читал её, как открытую книгу, с интересом перелистывая страницы, смакуя каждую паузу, каждый невольный вздох, каждое едва уловимое движение ресниц.

В этом чтении для него было особое, азартное удовольствие охотника, который наконец-то нашёл след достойной добычи и теперь идёт по нему, не торопясь, зная, что финал уже предreshён, но оттягивая момент истины, чтобы продлить наслаждение.

— Это лучший напиток человечества, — произнёс он, наблюдая за её реакцией с тем же интересом, с каким естествоиспытатель наблюдает за поведением редкого, экзотического зверя, с каким астроном наблюдает за рождением новой звезды. Его голос был спокойным, глубоким, с лёгкой, приятной хрипотцой человека, который много смеётся, редко унывает и умеет ценить маленькие радости жизни. В этом голосе было что-то обволакивающее, успокаивающее, как шум далёкого моря или треск дров в камине в зимнюю ночь, и Белла, привыкшая к холодным, звенящим, как натянутая струна, голосам своего народа, на мгновение позволила себе просто насладиться этим звучанием. — Раф. Попробуй, Белла. Вкус, который не уступает по сложности эльфийскому вину из лунных ягод. В нём есть всё: горечь утраты, сладость надежды, тепло воспоминаний и острота предвкушения. Это не просто напиток. Это исповедь. Это душа, перелитая в жидкость.

Она фыркнула, но любопытство, это древнее, всепобеждающее, ненасытное чувство, перед которым бессильны даже бессмертные, перед которым отступают даже века и эпохи, взяло верх над её привычным высокомерием.

Сделав маленький, осторожный, почти невесомый глоток, она замерла, прислушиваясь к ощущениям, разливающимся по телу. На мгновение весь мир вокруг неё перестал существовать: растаяли очертания старинных домов, растворился в небытии отдалённый шум машин, померк свет закатного солнца. Остался только вкус глубокий, многогранный, обволакивающий, как тёплый плед, согревающий, как объятия близкого друга, утешающий, как слова, сказанные в нужный момент.

Алексей увидел, как в её бездонных, грозových глазах на мгновение вспыхнуло удивление, чистое и неподдельное, сметающее всю её вековую броню, словно она впервые услышала музыку, увидела звездопад или осознала смысл древнего пророчества. Этот вкус насыщенный, бархатистый, согревающий, был полной противоположностью её ожиданиям. Он был не грубым, не примитивным, как всё людское, каким она его себе представляла, а на удивление тонким, сложным и гармоничным, многогранным, как симфония, где каждая нота находит своё место, как поэма, где каждое слово дышит.

Это был не просто напиток, это был рассказ без слов, поэма, заключённая в картонном стаканчике. Вкус обволакивал, проникал в самое нутро, согревал изнутри, и на мгновение ей показалось, что она начинает понимать, почему эти недолговечные создания так отчаянно, так истово цепляются за жизнь, за эти маленькие удовольствия, за эти крошечные островки счастья в бескрайнем, холодном океане хаоса.

В этом глотке было заключено нечто большее, чем просто смесь сливок, эспрессо и сиропа. В нём была зашифрована сама суть человеческого существования краткого, хрупкого, полного страданий и разочарований, но при этом способного создавать такие простые, такие земные, такие невыразимо прекрасные вещи, как этот напиток. И это открытие, это внезапное понимание, словно молния, пронзило её сознание, заставив на мгновение усомниться в правильности всех её прежних убеждений, в справедливости её многовекового презрения к человеческой расе.

Именно в этот момент, между глотком кофе и застывшим в воздухе последним лучом солнца, окрасившим её волосы в розовато-золотистый, почти мистический цвет, и родился контракт. Алексей предложил пари, столь же простое, сколь и дерзкое, столь же безумное, сколь и продуманное.

Тринадцать встреч. Тринадцать попыток влюбить её в этот сумасшедший, несовершенный, но такой живой, такой настоящий человеческий мир. Или, быть может, в него самого в его улыбке мелькнуло нечто, заставившее Беллу насторожиться, нечто тёплое, опасное и неуловимо манящее одновременно.

Если за это время она не дрогнет, не уступит, не поддастся очарованию этого мира, он получит право на одно её желание. Любое. Без ограничений. Без оговорок. Это было рискованно, почти безумно, почти самоубийственно, но в его глазах горел такой азарт, такая неукротимая вера в себя, что она невольно залюбовалась.

Азарт, вспыхнувший в его взгляде, был сильнее любого драконьего пламени, и он опалил её, пробиваясь сквозь вековую броню равнодушия, словно луч света сквозь толщу льда. В этот момент он был подобен игроку, ставящему на кон всё своё состояние ради единственного броска костей, и в этом безумстве было нечто заразительное, нечто, от чего кровь начинала быстрее бежать по жилам, а сердце биться в ускоренном ритме.

Белла приняла вызов, скорее из скуки, чем из интереса, скорее из желания развеять вековую тоску, чем из веры в возможность перемен. Века, проведённые среди холодной красоты, утончённых интриг и бесконечных, утомительных ритуалов, сделали её циничной, скептической, недоверчивой. Она видела слишком много, пережила слишком многих, чтобы верить в чудеса или в возможность перемен.

Она считала себя неуязвимой, неприступной крепостью, о чьи стены разбивались все попытки покорить её сердце, все штормы и ураганы человеческих страстей.

Но где-то в глубине души, в том тщательно скрываемом, потаённом уголке, куда она и сама редко заглядывала, куда не осмеливались заглядывать даже самые близкие, шевельнулось смутное, незнакомое, будоражащее чувство. Удивление. Этот человек, стоящий перед ней с улыбкой победителя, не пал ниц, не рассыпался в комплиментах, не попытался купить её расположение дорогими дарами.

Он бросил ей вызов, глядя прямо в глаза, и в этом взгляде не было ни страха, ни подобострастия, ни фальшивого обожания, лишь спокойная уверенность и что-то ещё, что она пока не могла определить. Он не боялся её. И это, впервые за долгое, неисчислимо долгое время, было... любопытно. Впервые за столетия ей стало интересно, что же будет дальше.

Игра началась. И Белла, сама того не подозревая, уже сделала первый шаг навстречу неизведанному, навстречу миру, который она так долго презирала, навстречу человеку, который осмелился бросить вызов самой вечности.

Судьба, эта древняя насмешница, уже довольно потирала руки, предвкушая самое увлекательное представление за последние несколько тысячелетий. И в тот самый миг, когда их взгляды встретились.

Его, полный дерзкого огня и непоколебимой веры, и её, ледяной, но уже тронутый первыми трещинами интереса, где-то в непостижимых высях мироздания сдвинулась невидимая шестерёнка, и начали разворачиваться события, последствия которых не мог предугадать ни один мудрец, ни один пророк, ни одно живое существо во всех бесчисленных мирах.

Глава 2. Боулинг и магия точности

Второе свидание началось не с тишины уютной кофейни, где воздух пропитан горьковатым ароматом свежемолотых зерен и шелестом страниц забытых книг, не с интимного полумрака дорогого ресторана, где свечи отбрасывают дрожащие тени на белоснежные скатерти, и уж точно не с тонкого, обволакивающего аромата свежесваренного рафа с его сливочной, почти десертной нежностью.

Оно обрушилось на Беллу оглушительным, всепоглощающим грохотом, бьющим по ушам с такой силой, что, казалось, сами барабанные перепонки вибрируют в унисон с этим адским шумом. Это был хаос разноцветных неоновых вспышек, режущих глаза, заставляющих щуриться и моргать, пытаясь привыкнуть к агрессивному, пульсирующему свету. И над всем этим висел тяжелый, почти осязаемый запах разогретого фритюрного масла, смешанный с чем-то неуловимо химическим, отдающим дешевым пластиком, резиной и едва уловимым ароматом чистящего средства, которым, судя по всему, совсем недавно наспех протерли пластиковые сиденья.

Алексей привел её в боулинг. Место, которое она сочла бы последним пристанищем человеческого дурновкусия, квинтэссенцией всего примитивного и вульгарного, что только могла породить эта молодая, шумная, бестолковая цивилизация, если бы вообще хоть на секунду удостоила его своим высочайшим вниманием.

В её личной иерархии мирового устройства это заведение располагалось где-то между придорожной закусочной и дешёвым цирком. То есть в той области, которую она предпочитала не замечать, не посещать и уж тем более не анализировать. Сама мысль о том, что она, эльфийская принцесса, носительница древней крови и обладательница знаний, накопленных за тысячелетия, будет стоять посреди этого бедлама, казалась ей настолько абсурдной, что она едва не рассмеялась в голос, когда Алексей впервые предложил это.

Однако, вопреки здравому смыслу, она всё же согласилась. Почему? Этот вопрос она задавала себе снова и снова, пока они шли к входу, пока он расплачивался за игру, пока она впервые вдыхала этот тяжелый, липкий воздух. И ответа у неё не было. Или, возможно, был, но она боялась даже мысленно сформулировать его, потому что это означало бы признать себе в том, что ей... интересно. Интересно с этим человеком. Интересно в этом мире. Интересно жить, а не просто существовать, наблюдая за течением времени со стороны.

Огромный зал гудел, как растревоженный улей гигантских механических пчел, как гигантский живой организм, дышащий, кричащий, вибрирующий каждой своей клеткой. Где-то слева, с оглушительным треском, напоминающим горный обвал или раскат грома, обрушивались кегли, разлетаясь в стороны, словно сраженные невидимой рукой великана, словно поверженные воины на поле боя. Этот звук повторялся снова и снова, сливаясь с другими звуками, создавая какофонию, от которой у непривычного человека могла закружиться голова.

Справа взрывалась победными криками и громким хлопаньем ладоней компания молодых людей, празднующих, судя по всему, какую-то невероятно важную для них победу. Белла невольно задумалась о том, каково это: испытывать такую бурную радость от столь незначительного, по её меркам, события.

Неужели смертные действительно умеют радоваться так искренне, так полно, так всецело отдаваясь моменту? Или это лишь игра на публику, маска, которую они надевают, чтобы казаться счастливее, чем есть на самом деле? Она не знала ответа, и это незнание раздражало её больше, чем весь этот шум.

Над всем этим бедламом висела ритмичная, назойливая музыка, пульсирующая в такт неоновым огням, басы били по вискам с такой силой, что у эльфийки, привыкшей к утонченной

гармонии древних мелодий, к переливам арф и нежному журчанию лесных ручьев, уже через минуту начала зарождаться тупая, ноющая головная боль.

Она чувствовала, как вибрация проникает в её тело через подошвы туфель, через кости, через саму кожу, как она резонирует с чем-то глубоко внутри, вызывая смутное, тревожное чувство. Музыка здесь была не фоном, не украшением, не способом создать атмосферу. Она была частью агрессивной среды, таким же раздражителем, как мигающий свет и запах масла. Она требовала внимания, влезала в уши, не оставляя ни секунды тишины, ни мгновения покоя.

Белла стояла у самого входа, прямая как струна, как натянутая до предела тетива лука, и смотрела на это буйство красок, звуков и запахов с таким выражением лица, словно её не на свидание привели, а вытолкнули на гладиаторскую арену, заставляя сражаться с дикими зверями на потеху ревушей толпе.

В её взгляде, которым она медленно, методично обводила помещение, читалась смесь безразличного любопытства и холодного, вселенского презрения. Казалось, она мысленно прикидывала, сколько времени потребуется, чтобы стереть это место с лица земли одним точным магическим импульсом, сколько энергии уйдет на то, чтобы превратить этот кричащий, вульгарный зал в горстку пепла, и сдерживалась лишь из каких-то своих, непостижимых для смертных соображений.

Возможно, из вежливости. Возможно, из любопытства. А возможно, из-за этого странного, тёплого чувства, которое она испытывала рядом с Алексеем и которое она была уверена, не имело ничего общего с магией, но каким-то образом оказывалось сильнее любого заклинания.

Её длинные платиновые волосы, собранные в безупречно гладкий высокий хвост, струящиеся по спине жидким серебром, казались единственным островком благородства и истинной красоты в этом море кричащей, аляповатой безвкусицы.

Они мерцали в неоновом свете, переливаясь оттенками от лунного серебра до холодной стали, и каждый волосок лежал идеально ровно, словно подчиняясь невидимому закону гармонии, который она несла с собой повсюду, куда бы ни направлялась. Грозные глаза, цвет которых менялся от стального серого до темно-фиолетового, метали настоящие молнии, хотя внешне она оставалась ледяной и бесстрастной, как мраморная статуя, изваянная великим мастером в незапамятные времена.

В этих глазах можно было прочесть целую историю. Долгую, сложную, полную потерь и разочарований, но лишь в том случае, если знать, куда смотреть и что искать. Алексей, впрочем, уже начинал учиться этому искусству, сам того не осознавая.

Тонкие аристократические пальцы сжимали изящную сумочку с такой силой, что дорогая кожа тихонько поскрипывала, грозя лопнуть от напряжения. Этот едва уловимый звук был единственным внешним признаком того внутреннего напряжения, которое она испытывала.

Она огляделась ещё раз, уже более внимательно, подмечая детали, которые обычный человек пропустил бы. Вон тот парень в дальнем углу замахнулся неправильно. Слишком высоко поднял руку, слишком сильно развернул корпус.

Он промахнется, это очевидно любому, кто хоть немного понимает в механике движения. Вон та девушка в розовой футболке держит шар так, словно боится его уронить. У неё нет ни шанса выбить страйк. А вон тот мужчина в деловом костюме, который пришел сюда, судя по всему, прямо с работы, смотрит на экран с таким напряжением, будто от результата этого броска зависит его дальнейшая карьера. Люди.

Обычные, простые, смертные люди, со своими маленькими радостями и большими тревогами. И она среди них, в этом шумном зале, в этой нелепой обуви, которую ей только предстояло надеть. Как она до этого дошла?

Алексей, напротив, чувствовал себя здесь как рыба в воде. Это была его стихия. Шумная, простая, понятная, лишенная всякого пафоса и претенциозности. Он небрежно кивнул адми-

нистратору за стойкой, обменялся парой шуток с компанией за соседним столиком, хлопнул кого-то по плечу с фамильярностью старого знакомого и, подхватив две пары боулинговых туфель, направился к Белле с видом триумфатора, ведущего за собой плененную королеву на экскурсию по владениям простолюдинов.

В его походке было что-то от победителя, от человека, который точно знает, что делает, и не сомневается в правильности своих действий. Он улыбался легко, открыто, искренне. Эта улыбка, к удивлению Беллы, не вызывала в ней того раздражения, которое обычно вызывали у неё самодовольные улыбки смертных.

Напротив, она чувствовала, как уголки её собственных губ предательски дрогнули, пытаясь сложиться в ответное подобие улыбки, и ей пришлось приложить усилие, чтобы сохранить ледяное выражение лица.

Она посмотрела на обувь, которую он ей протянул, с откровенным, ничем не прикрытым ужасом. Это были не туфли. Форменное надругательство над самим понятием обуви, над всем, что она знала о моде, стиле и элементарной эстетике. Грубые, разноцветные красно-синие-желтые, с какими-то нелепыми полосами, которые, казалось, были расположены в случайном порядке, без всякой логики и смысла, с неестественно широкими, словно расплюснутыми носами, они выглядели так, будто их создавали специально для того, чтобы унижить всякого, кто осмелится их надеть.

Шнурки, завязанные в какие-то немыслимые узлы, свисали неровными петлями, и Белла невольно задумалась о том, сколько рук, сколько ног, сколько поколений смертных прикасалось к этой обуви до неё. Мысль эта была настолько отвратительной, что она едва не поморщилась. Подошва, судя по всему, была сделана из материала, который позволял скользить, но не давал упасть, технология, до которой эльфийская цивилизация почему-то не додумалась, возможно, потому, что никогда не испытывала потребности в столь специфическом сочетании свойств. Кожа была потертой, местами потрескавшейся, а пятка изнутри слегка стоптана, что говорило о том, что эти туфли носили сотни, а может быть, и тысячи раз, прежде чем они попали в руки эльфийской принцессы.

Белла перевела взгляд с туфель на Алексея, потом снова на туфли, потом снова на него. В её глазах читался немой вопрос, полный такого искреннего, глубокого недоумения, что Алексей едва сдержал рвущийся наружу смех. Это был взгляд человека, который впервые в жизни столкнулся с чем-то настолько абсурдным, что его мозг отказывался обрабатывать полученную информацию. Такой взгляд мог быть у астронома, который, изучив тысячи звездных карт, вдруг обнаружил, что небо над головой всего лишь нарисованный потолок.

Такой взгляд мог быть у философа, которому после десятилетий размышлений о смысле бытия сообщили, что ответ сорок два, без всяких объяснений. В этом взгляде было всё: и оскорбленное достоинство, и недоверие, и отчаянная надежда на то, что всё это лишь дурная шутка, которая сейчас закончится.

— Это обязательно? — спросила она тоном, которым королевы объявляют смертные приговоры, ледяным, чеканным, не допускающим возражений, но в глубине которого все же угадывалась едва заметная дрожь надежды на отрицательный ответ. Каждое слово было произнесено четко, отдельно, с той особой интонацией, которая не оставляла сомнений: перед вами существо, привыкшее повелевать, существо, которое не просит, а ставит перед фактом, существо, чье слово — закон. И всё же в самой глубине её голоса, где-то под слоем льда и стали, можно было различить нечто, похожее на растерянность. Она не привыкла оказываться в ситуациях, которые не контролировала, и это отсутствие контроля пугало её, заставляло насторожиться, как дикого зверя, впервые попавшего в клетку.

— Абсолютно, — ответил он, всё-таки улыбнувшись широко, открыто, совершенно искренне. — Это часть ритуала. Дресс-код, если хочешь. Без них тебя не пустят на дорожку. И, поверь, в них есть своя магия.

— Магия? — Она скептически изогнула бровь, и это движение было исполнено такого аристократического презрения, что могло бы испепелить целый легион простолюдинов. В её исполнении даже это простое мимическое движение выглядело как произведение искусства, как отточенный веками жест, несущий в себе столько смысла, сколько иной смертный не смог бы выразить и тысячью слов. — В этом... предмете?

Она произнесла слово «предмете» с такой интонацией, с какой другой человек сказал бы «в этом отбросе» или «в этом порождении хаоса». В её голосе было столько искреннего недоумения, что Алексей на мгновение почувствовал что-то вроде укола совести, но лишь на мгновение. Он знал, что делает, и был уверен, что этот опыт, каким бы шокирующим он ни казался сейчас, пойдёт ей на пользу.

В конце концов, не каждый день эльфийская принцесса получает возможность побыть простым смертным, и не каждый день простой смертный получает возможность показать эльфийской принцессе, что в простоте есть своя, особая магия.

— Магия смирения, — пояснил он, ничуть не смутившись. — Ты надеваешь их и становишься простым смертным. На время игры, разумеется. В них все равны. И президенты, и уборщики, и древние эльфийские принцессы. Никаких привилегий, никакой магии, никакого статуса. Только ты, дорожка и кегли.

Он говорил это легко, с улыбкой, но в его словах, если прислушаться, звучала определенная философия. Философия равенства, которая была так чужда Белле, выросшей в мире, где статус и происхождение определяли всё, где древность рода была не просто предметом гордости, но мерилom ценности существа как такового.

Идея о том, что можно надеть нелепую обувь и стать равным всем остальным, казалась ей одновременно абсурдной и... заманчивой. Это было похоже на предложение сбросить тяжелый плащ, который она носила всю свою жизнь, и хотя бы на час почувствовать легкость бытия, не обремененного тысячелетиями наследия. Но признаться в этом — даже самой себе — было выше её сил.

Белла поджала губы, и в её взгляде промелькнуло нечто, похожее на мучительную внутреннюю борьбу. С одной стороны, самоуважение требовало немедленно развернуться и уйти, оставив это место, этого человека и эту нелепую обувь в прошлом, как дурной сон, который рассеивается с первыми лучами утреннего солнца.

С другой — что-то, чему она пока не могла дать определения, удерживало её на месте, словно невидимая рука легла ей на плечо, не давая сдвинуться с места. Возможно, это было любопытство, которое всегда было её слабостью, её тайным пороком, заставлявшим её совершать поступки, не подобающие её статусу.

А возможно — нежелание признавать поражение, отступать перед трудностью, сдаваться перед лицом испытания, каким бы нелепым оно ни было. Так или иначе, она всё же сняла свои изящные туфельки, и каждое движение её рук было исполнено такой грации, такой отточенной веками плавности, словно она совершала священнодействие, а не переобувалась в разгар шумного зала.

Она растянула маленькие серебряные пряжки, аккуратно поставила туфельки рядом с собой, носками наружу, и на мгновение задержала на них взгляд, словно прощаясь с частицей своего мира перед тем, как шагнуть в чужой, неведомый.

Переобувшись, она брезгливо пошевелила пальцами, проверяя, насколько ужасно ощущается эта обувь на самом деле, и осторожно встала. Выражение её лица было таким, будто она наступила босой ногой в нечто неопишное, холодное и склизкое. Материал внутри оказался жестким, шершавым, совершенно не похожим на мягкую кожу, к которой она привыкла, а сама обувь сидела так, словно была сделана не по ноге, а по какому-то усредненному стандарту, не учитывающему индивидуальных особенностей.

Она сделала осторожный шаг, потом другой, чувствуя, как подошва скользит по полу, создавая ощущение неустойчивости, которое было ей глубоко неприятно. Но Алексей не дал ей времени на страдания и рефлексии: он уже вел её к их дорожке, туда, где на специальной металлической стойке, словно молчаливые стражи, ждали разноцветные шары, поблескивающие в свете неоновых ламп своими идеально отполированными боками.

Каждый шар казался маленькой планетой, застывшей в ожидании своего часа, и Белла невольно задержала на них взгляд, оценивая вес, цвет и, возможно, скрытые свойства.

Он объяснил правила — просто, коротко, без лишних деталей, зная, что его спутница схватывает всё на лету, как губка впитывает воду. Десять кеглей, шар, два броска, счёт на экране, в конце игры — победитель и проигравший. Всё просто, всё понятно, всё подчинено логике, которая не требовала ни магических способностей, ни вековой мудрости, ни глубоких философских знаний. И именно эта простота, эта примитивная ясность правил казалась Белле одновременно отталкивающей и интригующей.

Она привыкла к сложности, к многослойности, к тому, что за каждым явлением скрывается бесконечная цепочка причин и следствий, уходящая в глубь времен. А здесь всё было иначе: здесь всё было на поверхности, и это было... странно. Странно, но любопытно.

Белла слушала с видом антрополога, изучающего ритуалы дикого племени, — с холодным интересом и легкой брезгливостью, — но в глубине её грозových глаз, где-то на самом дне, уже загорелся крошечный огонёк азарта, который она изо всех сил пыталась скрыть. Этот огонёк был похож на далекую звезду, которая только-только начинает разгораться в ночном небе, на первый проблеск света в непроглядной тьме.

Она сама не заметила, как её дыхание стало чуть более частым, а сердце забилося чуть быстрее, — нет, не от волнения, а от предвкушения, от ощущения того, что сейчас произойдет что-то новое, что-то, чего она еще никогда не испытывала. И хотя внешне она оставалась всё тем же ледяным изваянием, внутри неё уже происходили процессы, которые она не могла контролировать, как ни старалась.

Она выбрала самый тяжёлый шар, чёрный, с серебристыми вкраплениями, напоминающими звезды на ночном небе, и, не дожидаясь дальнейших объяснений, решительно вышла на дорожку. Её походка была грациозной и плавной, совершенно не подходящей для этого места, — казалось, она не идет по скользкому полу боулинга, а шествует по мраморным полам древнего дворца, где каждый её шаг отдавался эхом в высоких сводах.

Несколько человек за соседними столиками невольно обернулись, чтобы посмотреть на неё, — на эту странную, неземную фигуру, которая выглядела здесь настолько чужеродно, насколько это вообще было возможно. Алексей открыл было рот, чтобы предупредить её о чем-то важном, но она уже вскинула руку с шаром, и он почувствовал, как воздух вокруг неё едва заметно завибрировал.

Волосы на его руках встали дыбом, а где-то на периферии слуха возник тонкий, едва уловимый звон, похожий на пение стекла на грани разрушения. Это было то самое ощущение, которое он уже испытывал однажды, когда Белла в его присутствии использовала магию, — ощущение того, что сама реальность вокруг неё истончается, готовая подчиниться её воле. Она собиралась использовать магию. Это было очевидно.

— Стой! — Его голос прозвучал резче, чем он хотел, прорезав гул зала, как нож прорезает масло, и на мгновение ему показалось, что даже музыка на секунду стихла, уступив место его окрику.

Белла обернулась, и в её глазах промелькнуло нечто, похожее на оскорблённое достоинство, смешанное с искренним недоумением. Её прервали. Её, существо, способное повелевать стихиями, остановили на полпути, как какого-то нерадивого ученика, как ребенка, который тянется к горячей плите.

В её взгляде читался немой вопрос, полный такого холодного, сдерживаемого гнева, что другой человек на месте Алексея, вероятно, уже попятился бы. Но он стоял на месте, глядя ей прямо в глаза, и в его взгляде не было ни страха, ни извинения, ни сомнения. Только спокойная уверенность человека, который знает, что поступает правильно.

— Почему? — спросила она, и в её голосе прозвучала сталь. — Это простое направленное усилие. Я могла бы выбить все кегли разом, даже не касаясь шара. Одной мыслью. Это заняло бы меньше секунды.

Она не хвасталась. Она констатировала факт. И в этом было всё: существо, говорящее с ним, действительно могло бы уничтожить эти кегли, не прикасаясь к ним, — и не только кегли. Ей не нужно было доказывать свою силу, она была очевидна, как очевиден восход солнца каждое утро. Но именно поэтому Алексей и настаивал на своём. Именно поэтому он хотел, чтобы она попробовала сделать это как обычный человек — потому что в этом, и только в этом, заключался смысл всего мероприятия.

— Именно поэтому, — ответил он, подходя ближе и останавливаясь на безопасном, но всё же достаточно близком расстоянии. — В этом и смысл. Попробуй сделать это как человек. Без чар, без заклинаний, без вековой практики управления энергией. Просто ты, твоя рука и этот шар. Это честная игра, Белла. А честная игра — это когда у всех одинаковые правила.

Она посмотрела на него долгим, изучающим взглядом, словно пыталась понять, где в его словах скрыта ловушка, какой подвох он готовит, чего от неё на самом деле хочет. В её глазах читалось недоверие, смешанное с любопытством, — опасное сочетание, способное привести к непредсказуемым последствиям.

Она не привыкла к тому, чтобы кто-то устанавливал для неё правила, не привыкла к тому, чтобы её ограничивали, не привыкла к тому, чтобы у неё что-то запрещали. И всё же в его словах было что-то, что заставило её остановиться. Возможно, это было слово «честная». Честность была понятием, которое она, несмотря на все свои недостатки, уважала.

Честность была тем редким качеством, которое она ценила даже в смертных. И сейчас, глядя в глаза Алексею, она видела эту честность — простую, незамутнённую, не требующую доказательств.

Она неохотно кивнула, возвращая контроль над собой, и вложила пальцы в отверстия шара. Он был тяжёлым, — она это чувствовала, — но не настолько, чтобы доставить ей неудобство. Сделав шаг вперёд, она попыталась воспроизвести то движение, которое видела у других игроков, — замах, плавный шаг, бросок.

Но то, что у других выглядело естественно и просто, у неё получилось... катастрофично. Шар, пущенный слишком слабо и под совершенно неправильным углом, лениво прокатился несколько метров, вильнул в сторону, сбил одну-единственную кеглю на самом краю соседней дорожки и, жалобно стукнувшись о деревянный борт, замер в желобе. Этот звук — глухой, окончательный, неумолимый — прозвучал в её ушах как приговор.

Компания на соседней дорожке, которая как раз заканчивала свой бросок, замерла в недоумении, уставившись на чужой шар, непонятно как оказавшийся на их территории, а потом разразилась громким, искренним хохотом.

Этот смех, такой человеческий, такой беззаботный, такой обидный в своей простоте, прокатился по залу, казалось, многократно усилившись. Белла застыла на месте, как изваяние, и её щёки — впервые за несколько тысячелетий — тронул лёгкий румянец.

Она не знала, что такое смущение, но это чувство было именно оно, и оно ей категорически, всецело не нравилось. Это было нечто новое, незнакомое, глубоко неприятное — ощущение того, что ты оказался не на высоте, что ты выглядел глупо, что над тобой смеются. И это было невыносимо.

Это было невыносимо. Она, владеющая силами, способными раскалывать континенты, способными изменять русла рек и стирать с лица земли целые города, только что опозорилась

перед толпой смертных, сбив одну-единственную кеглю на чужой дорожке. Она, чье имя произносили с трепетом и благоговением, чьи приказы исполнялись беспрекословно, чья мудрость считалась неоспоримой, — она только что стала предметом насмешек для компании молодых людей, которые, вероятно, не смогли бы даже произнести её настоящего имени.

Смех компании звучал в её ушах, как приговор, как насмешка самой судьбы, а румянец на щеках разгорался всё сильнее, превращаясь в настоящий пожар.

Ей хотелось провалиться сквозь землю, раствориться в воздухе, исчезнуть из этого места, из этого мира, из этой реальности. И в то же время ей хотелось развернуться и испепелить эту смеющуюся компанию одним взглядом, — но она сдержалась. Каким-то чудом, каким-то невероятным усилием воли, она сдержалась.

Алексей подошёл к ней сзади, стараясь не смеяться, хотя в его глазах плясали самые настоящие чёртики, выдавая его с головой. Он знал, что смеяться сейчас нельзя, что это может ранить её гордость настолько глубоко, что она больше никогда не захочет иметь с ним дело. Но, боги, как же ему было трудно сдерживаться!

Вся эта ситуация была настолько нелепой, настолько комичной, настолько выходящей за рамки всего, что он мог себе представить, что его губы сами собой расплывались в улыбке, а из груди рвался смех. И всё же он сдержался, потому что понимал: для неё это не шутка. Для неё это испытание, вызов, борьба с самой собой. И он не имел права смеяться над этим.

— Не расстраивайся, — произнёс он, и его голос прозвучал у самого её уха, тёплый и обволакивающий. — У всех, кто впервые, так. Это нормально. Главное — правильная стойка и движение. Давай попробуем ещё раз. Я помогу.

Она хотела возразить, сказать, что не нуждается в помощи, что она существо, способное одним усилием мысли обрушить небоскрёб, что весь этот жалкий зал с его неоновыми огнями и хохочущими смертными — лишь пыль под её ногами. Слова уже были готовы сорваться с её губ, острые, как клинки, холодные, как зимняя стужа. Но вместо этого, к своему собственному изумлению, она лишь коротко кивнула.

Этот кивок стоил ей больше, чем любое сражение, любое заклинание, любое испытание, через которое она прошла за свою долгую жизнь. Это было признанием — пусть крошечным, пусть невысказанным, но все же признанием того, что ей нужна помощь.

Что она, всемогущая эльфийская принцесса, не может справиться с простым боулинговым шаром без поддержки смертного. И это признание было для неё почти болезненным.

Взяв новый шар — на этот раз чуть легче, сантиментов ради, — она почувствовала, как его ладонь накрыла её руку. Прикосновение было неожиданно тёплым, обжигающе тёплым, и по её телу пробежала дрожь, которую она не смогла объяснить, как ни пыталась. Это была не магия, не заклинание, не какое-то внешнее воздействие.

Это было что-то иное, что-то, исходящее изнутри, что-то, что она не испытывала уже очень, очень давно. Он встал сзади, почти вплотную, его дыхание коснулось её шеи, и весь мир — грохочущий, мигающий, пахнущий маслом мир боулинга — на мгновение сузился до этой единственной точки контакта.

Она слышала его дыхание, чувствовала тепло его тела, ощущала, как его грудная клетка поднимается и опускается в такт её собственной. И это ощущение близости было настолько сильным, настолько всепоглощающим, что она на мгновение забыла, где находится и что делает.

Его вторая рука легла на её талию, корректируя положение тела, и Белла почувствовала, как внутри неё что-то сжалось, а потом медленно, сладко отпустило.

Это было странное, незнакомое ощущение — ощущение того, что тебя направляют, ведут, заботятся. Ощущение, которого она не испытывала уже много тысяч лет, с тех пор, как покинула родные чертоги, с тех пор, как последний раз позволяла кому-то прикоснуться к себе с такой... нежностью. Она не привыкла к этому.

Она не привыкла к тому, что кто-то может быть так близко, так тепло, так по-человечески близко. И это пугало её. Пугало до дрожи, до головокружения, до того, что её сердце — древнее, мудрое, повидавшее столько, сколько не видел ни один смертный, забилось быстрее, как у какой-нибудь юной смертной девушки на первом в её жизни свидании.

— Расслабься, — прошептал он, и его шёпот прозвучал у самого её уха, такой близкий, интимный, что у неё перехватило дыхание. — Не борись с шаром. Почувствуй его вес. Позволь ему вести тебя, а не наоборот. А теперь плавно, по дуге...

Он вёл её руку, и его движения были уверенными, мягкими, но настойчивыми. Вперёд, назад, ещё раз — как маятник, как танец, как заклинание, творимое без слов. Белла, привыкшая всё контролировать, всегда и во всём полагаться только на себя, впервые в жизни позволила себе подчиниться. Полностью. Без остатка.

Она ощущала тепло его тела, слышала его дыхание, чувствовала, как бьётся его сердце — быстро, но ровно, в такт её собственному, которое, к её ужасу, тоже начало сбиваться с привычного ритма. Её мысли, обычно ясные и точные, как математические формулы, стали путаться, расплываться, терять четкость. Она не могла сосредоточиться ни на чём, кроме этого прикосновения, кроме этого тепла, кроме этого странного, незнакомого ощущения, которое растекалось по всему её телу, как тёплое вино.

Она попыталась вспомнить, когда в последний раз кто-то прикасался к ней так. По-настоящему. Без страха, без подбострастия, без корысти. Она перебирала в памяти лица, голоса, прикосновения, но всё это было далеко, всё это было в другой жизни, в другом мире, который уже давно перестал существовать.

Её родители, наставники, собратья. Все они прикасались к ней с уважением, с почтением, с осознанием того, кем она является. Но никто не прикасался к ней так, как этот смертный, с теплотой, с той особой, человеческой нежностью, которая не знает ни иерархий, ни расстояний, ни вековых барьеров. И это было... ошеломляюще. Это было как удар, как откровение, как внезапное прозрение, которое переворачивает всё с ног на голову.

И в этот момент, стоя в нелепой обуви на скользком полу, сжимая в руке разноцветный шар, окружённая грохотом и криками, она вдруг поняла нечто очень важное.

Она поняла, что магия существует. Но она была не в заклинаниях, не в древних ритуалах и не в вековой мудрости её народа. Она была в этом неловком, тёплом прикосновении, в этом смешном месте, в этом нелепом мире, который она так долго презирала.

Магия была в том, как его ладонь лежала на её руке, как его дыхание касалось её шеи, как его голос звучал у самого уха. И это открытие испугало её больше, чем что-либо за последнюю тысячу лет. Испугало и, вопреки всему, заставило улыбнуться. Едва заметно, уголками губ, так, чтобы он не увидел.

Глава 3. Парк аттракционов: Страх и Эндорфины

Третье свидание началось с криков. Пронзительных, многоголосых, взлетающих к небу и рассыпающихся там тысячами невидимых осколков, они смешивались с оглушительной, бьющей по барабанным перепонкам музыкой, звоном бронзовых колокольчиков, треском пневматических тиров и низким, утробным гулом механизмов в единую, ни на что не похожую какофонию, имя которой было — парк аттракционов.

Это место жило своей собственной, лихорадочной жизнью. Оно дышало запахами жареного попкорна, сладкой ваты, разогретого на солнце пластика и едва уловимого, щекочущего ноздри озона, исходящего от искрящихся контактов аттракционов.

Белла стояла у массивных, увитых гирляндами ворот, и её лицо выражало ту особую, доведённую до совершенства степень высокомерия, на которую способны лишь бессмертные существа, вынужденные снизойти до созерцания грубых людских забав.

Она стояла, гордо выпрямив спину, словно королева, случайно забредшая на деревенскую ярмарку. Её серебристые, струящиеся, как расплавленный лунный свет, волосы были убраны в безупречную высокую причёску, из которой не выбивался ни один волосок. Её платье — тёмно-синее, переливающееся, как ночное небо перед грозой, — казалось чужеродным пятном среди пёстрой, кричащей толпы, одетой в футболки с мультяшными принтами, шорты и яркие кроссовки.

Но в глубине её грозовых, цвета надвигающейся бури глаз, где-то за вековой, непробиваемой бронёй превосходства, скрывалось нечто совершенно иное — глубокая, почти детская растерянность, смешанная с осторожным, хищным любопытством. Она никогда раньше не бывала в подобных местах. Её мир, мир утончённой, кристальной красоты, был полон безмолвных, идеально подстриженных садов, где даже пение птиц казалось частью сложной, выверенной партитуры, и сверкающих дворцов, возведённых из лунного света и застывшей музыки.

Там даже смех звучал приглушённо, мелодично, словно боялся нарушить вечную, хрупкую гармонию, установленную тысячелетия назад. Здесь же всё было с точностью до наоборот: кричаще, нарочито, грубо, вырвиглазно и оглушительно — и почему-то от этого хаоса, от этой вульгарной яркости, у Беллы, к её собственному глубочайшему изумлению, быстрее забило сердце, а в кончиках пальцев закололо, словно от слабого электрического разряда.

Она поймала себя на мысли, что впервые за долгое время не знает, как себя вести. Здесь, среди этого людского водоворота, среди запахов и звуков, которые атаковали её со всех сторон, она чувствовала себя не всемогущей бессмертной, а маленькой девочкой, впервые вышедшей за пределы знакомого двора. Это было унижительно.

Это было непривычно. И это было странно... волнующе. Ей хотелось одновременно вернуться и уйти, сохранив остатки достоинства, и остаться, чтобы понять, что же такого манящего скрывается в этом хаосе. Она осталась.

Алексей уверенно вёл её сквозь плотную, разношёрстную толпу, ловко лавируя между усталыми, но счастливыми семьями с детьми, увешанными светящимися браслетами, влюблёнными парочками, которые то и дело останавливались, чтобы скрепить свои чувства очередным поцелуем, и шумными стайками подростков, громко обсуждающих, какой аттракцион страшнее. Его ладонь уверенно лежала на её талии, направляя, оберегая от случайных толчков, и Белла ловила себя на мысли, что это прикосновение, такое простое и собственническое, не вызывает в ней привычного раздражения.

Напротив, оно давало странное, забытое чувство защищённости, позволяя ей отвлечься от навигации в этом людском море и сосредоточиться на происходящем вокруг. Она чувствовала тепло его пальцев сквозь тонкую ткань платья, и это тепло расходилось по телу волнами, достигая самых глубин её существа, туда, где уже много веков царил холод.

Она не отстранилась. Более того, она поймала себя на том, что сама инстинктивно прижимается ближе к нему, когда толпа становится особенно плотной, ища в нём спасения от этой осязаемой, липкой человеческой близости, которая так её пугала.

Он купил два билета в пластиковом павильоне, даже не спросив её мнения, и, не дав ей времени на раздумья, сомнения или возражения, решительно направился к американским горкам — колоссальному сооружению из стали, дерева и визжащих болтов, вздымающемуся над парком, словно скелет доисторического чудовища, выбеленный солнцем и временем.

Рельсы, изгибаясь немыслимыми петлями и штопорами, уходили в самое небо, и от одного взгляда на них у Беллы холодок пробежал по позвоночнику. Она остановилась, задрал голову, и на мгновение ей показалось, что эта конструкция — живая, что она дышит, скрипит и стонет, как раненый зверь. Вагончики, с грохотом проносящиеся по рельсам, казались крошечными, хрупкими, и люди в них выглядели беспомощными букашками, отданными на милость бездушной механики.

Очередь двигалась медленно, словно сонная змея, сворачиваясь кольцами в деревянных лабиринтах, и у Беллы было достаточно времени, чтобы пронаблюдать за лицами тех, кто уже пережил падение. На них застыло выражение сладкого, липкого ужаса, эйфории, граничащей с безумием, и полного, абсолютного опустошения одновременно. Глаза этих людей блестели, щёки горели, а походка была нетвёрдой, как у пьяных.

Некоторые смеялись, другие, казалось, с трудом сдерживали слёзы, третьи просто молчали, глядя перед собой широко раскрытыми глазами, будто увидели нечто, что навсегда изменило их представление о реальности. Она смотрела на это с искренним недоумением, не в силах постичь логику этих существ, добровольно подвергающих себя подобному испытанию. Зачем? Зачем люди, и без того такие хрупкие, с таким коротким, как полёт мотылька, сроком жизни, играют с собственным страхом? Зачем они платят деньги за то, чтобы несколько минут висеть над пропастью, чувствуя, как внутренности подступают к горлу?

Это казалось ей верхом иррациональности, каким-то коллективным помешательством. Она уже хотела произнести что-то язвительное, что-то, что поставило бы Алексея на место и напомнило ему о её превосходстве, но слова застряли у неё в горле, когда она увидела его лицо. Он смотрел на неё с лёгкой, понимающей улыбкой, словно читая её мысли и наслаждаясь её внутренней борьбой.

— Это адреналин, — пояснил Алексей, будто прочитав её мысли. Его голос прозвучал неожиданно близко, прямо над ухом, и по её коже пробежали мурашки. — Когда ты боишься, твой мозг, этот древний компьютер, выбрасывает в кровь целый коктейль веществ: адреналин, норадреналин, кортизол, а потом, если ты выжил, — щедрую порцию дофамина и эндорфинов. Эти вещества заставляют тебя чувствовать себя... живой. Обострённой до самого предела. Каждый нерв, каждая клетка твоего тела кричит, и в этом первобытном крике есть странное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Вы, эльфы, наверное, уже забыли, что такое настоящий страх. Настоящий, животный ужас, от которого седеют волосы и останавливается время.

Он помолчал, давая ей возможность переварить услышанное, и продолжил, понизив голос до интимного шёпота:

— Страх — это компас. Он указывает на то, что для тебя действительно важно. Если ты боишься потерять кого-то — значит, этот кто-то тебе дорог. Если боишься высоты — значит, где-то глубоко внутри ты всё ещё цепляешься за жизнь. А если ты ничего не боишься... значит, ты уже умер. Внутри. Понимаешь, о чём я?

Он был прав. Белла не могла этого отрицать, как бы ей ни хотелось. Забыли. Или, возможно, никогда по-настоящему не знали, надёжно укрытые за стенами своих магических садов и несокрушимых догм. Белла привыкла к абсолютной безопасности, к предсказуемости каждого дня, похожего на предыдущий, как две капли росы, к тому, что сама реальность подчиняется её воле, изгибаясь под её желания, а не наоборот.

Её жизнь была бесконечной чередой идеально спланированных, безупречно исполненных событий, в которых не было места случайности, хаосу, а значит, и страху. Она жила в мире, где всё было под контролем — и в этом была её сила, но в этом же, как она только сейчас начинала смутно осознавать, была и её слабость. В этом была её тюрьма. Потому что, когда нечего бояться, нечего и преодолевать. Нечего терять. Нечему удивляться.

И вот теперь она, бессмертное существо, чей век исчислялся тысячелетиями, стояла в очереди на грубое механическое чудовище, которое обещало лишить её контроля, выбить почву из-под ног и заставить её кричать.

И от этого острого, будоражащего предвкушения у неё сладко, тягуче заныло где-то под ложечкой. Это чувство было сродни тому, что испытываешь, стоя на краю высокой скалы и глядя в бушующее внизу море: страшно, но оторваться невозможно.

Пока они продвигались в очереди, Алексей рассказывал ей о том, как впервые попал в парк аттракционов. Ему было семь лет, отец взял его с собой в этот же самый парк, и он, маленький, худой, с ободранными коленками, впервые в жизни увидел американские горки. Тогда они казались ему чем-то невозможным, чем-то, что может существовать только в фантазиях. Он помнил, как плакал от страха, цепляясь за отцовскую руку, как умолял не сажать его в этот жуткий вагончик. И помнил, как отец, смеясь, подхватил его на руки и прошептал: «Сынок, страх — это всего лишь дверь. Открой её, и увидишь, что за ней».

Алексей тогда не понял этих слов, но когда вагончик рванул вниз, и его крик слился с криками других людей, он вдруг почувствовал нечто такое, чего не чувствовал никогда раньше. Восторг. Чистый, незамутнённый, абсолютный восторг.

С тех пор он возвращался сюда снова и снова, каждый раз находя в этом ритуале что-то новое. И сейчас, глядя на Беллу, он видел в её глазах того же испуганного семилетнего ребёнка, которым когда-то был сам.

Когда они наконец заняли места в тесном, обшарпанном вагончике, пахнущем резиной и чьим-то страхом, и массивная металлическая скоба, лязгнув, опустилась на плечи, прижимая её к жёсткому сиденью, Белла почувствовала, как мир вокруг неё замер. Все звуки вдруг стихли, словно кто-то выкрутил ручку громкости до нуля.

Осталось только её сердце, стучащее где-то в горле, гулко отдающееся в висках. Ладони похолодели, стали липкими и чужими, а дыхание сделалось поверхностным, быстрым и рваным, как у загнанного зверька. Она не боялась смерти — ей ли, пережившей тысячелетия, видевшей падение империй и рождение новых звёзд, бояться какого-то жалкого железа, собранного человеческими руками?

Её жизнь не могла оборваться так просто. Но этот страх был другим. Он не был страхом смерти. Он был страхом потери контроля, страхом подчинения грубой физике, страхом, который поднимался откуда-то из самых тёмных, забытых, животных глубин её существа, затопляя разум горячей, обжигающей волной.

Это был не тот страх, что парализует. Это был страх, который будоражит, заставляет каждую клеточку вибрировать в предвкушении.

Вагончик дёрнулся и начал медленно, со скрежетом и позвякиванием, подниматься. Всё выше и выше, и город внизу становился всё меньше, превращаясь в игрушечную модель, в искусно сделанную декорацию к некоему грандиозному спектаклю.

Парк, ещё минуту назад огромный и шумный, сжимался до размеров пёстрого ковра. Люди внизу становились точками, муравьями, чьи жизни, заботы, радости и печали с такой высоты казались незначительными, почти нереальными. На самой вершине, в той точке, где, казалось, замирает само время, за мгновение до того, как мир сорвётся в пропасть, Белла почувствовала, как её пальцы сами, помимо воли, инстинктивно нащупали руку Алексея и сжали её с неожиданной, неженской силой.

Тёплую, живую, надёжную, единственную точку опоры в этом сошедшем с ума мире. И в ту же секунду, когда её ладонь накрыла его, вагончик, издав металлический вопль, ринулся вниз, и крик вырвался из её горла — пронзительный, дикий, совершенно незelfийский, полный ужаса и щенячьего восторга одновременно.

Дальше всё смешалось в бешеном, неостановимом вихре: небо и земля менялись местами, насколько хватало глаз, ветер хлестал по лицу, выбивая слёзы, волосы развевались, превращаясь в серебряный шлейф, а её рука мёртвой хваткой сжимала его ладонь, и он не вырывался, не пытался ослабить хватку, а сжимал в ответ с той же силой, и в этом простом, инстинктивном жесте было больше поддержки, понимания и близости, чем во всех древних, сложных ритуалах и изысканных ухаживаниях её народа.

Это был разговор без слов, на уровне чистых эмоций, на уровне бьющегося в унисон сердца. Когда вагончик наконец, лязгнув тормозами, остановился у платформы, Белла ещё несколько долгих секунд не могла разжать онемевшие пальцы.

Она смотрела перед собой невидящим, остекленевшим взглядом, грудь тяжело вздымалась, пытаясь вдохнуть побольше воздуха, а в ушах всё ещё звенел её собственный, незнакомый ей самой крик. И, к своему глубочайшему, вселенскому удивлению, она почувствовала, как губы сами собой, помимо её воли, растягиваются в улыбке.

Она смеялась. Сначала тихо, потом всё громче и громче. Впервые за много веков она смеялась так — свободно, беззаботно, истерично, как ребёнок, только что переживший первую в своей жизни бурю. Смех сотрясал её тело, и в этом смехе, в этих слезах, катившихся из глаз, выходило наружу всё то, что она так долго и тщательно подавляла в себе.

Алексей помог ей выбраться из вагончика, и она, всё ещё дрожащая, с горящими глазами, вцепилась в его руку, не желая отпускать. Её ноги были ватными, голова кружилась, а сердце колотилось так, будто собиралось выпрыгнуть из груди. Но она чувствовала себя... живой. По-настоящему живой, как никогда за последние несколько столетий.

Каждая клеточка её тела горела, вибрировала, пела. Она чувствовала вкус воздуха на языке, чувствовала запах попкорна, доносящийся из ларька, чувствовала тепло ладони Алексея в своей руке. Всё было ярче, острее, реальнее, чем когда-либо.

Она смотрела на мир широко раскрытыми глазами, и этот мир, ещё утром казавшийся ей грубым и примитивным, теперь выглядел по-другому. В нём была жизнь. В нём был огонь. В нём был смысл, который она упускала все эти тысячелетия, сидя в своих ледяных чертогах и презирая всё, что не соответствует её стандартам.

После горок, когда её ноги всё ещё подрагивали, а голова приятно кружилась, Алексей повёл её к ларьку, над которым, словно гигантский разноцветный гриб, висело облако розового, голубого и жёлтого — сахарная вата.

Продавец, уса́тый мужчина в забавном полосатом колпаке, ловкими, отточенными движениями наматывал на деревянную палочку километры сладкой паутины. Алексей купил ей самый большой шарик, похожий на застывшее розовое облако, сорванное прямо с неба во время заката, и протянул со словами, в которых слышалась мягкая, немного грустная улыбка:

— Это облака, которые можно есть. Попробуй. Вкус детства. Вкус беззаботности. Вкус, которого у тебя, скорее всего, никогда не было.

Белла с сомнением, почти с брезгливостью посмотрела на липкое воздушное нечто, которое, казалось, вот-вот растает от одного её дыхания, оставив лишь сладкое пятно на пальцах. Она осторожно, двумя пальцами, отщипнула крошечный кусочек, и он, даже не успев толком попасть на язык, исчез, оставив после себя лишь приторную сладость и неуловимое, почти мистическое ощущение, что она только что проглотила кусочек летнего заката, кусочек чьего-то простого, человеческого счастья. Это было до безобразия просто, до невозможности примитивно, до смешного эфемерно — но почему-то ей хотелось ещё.

Она отщипнула ещё кусочек, потом ещё, и ещё, стараясь сохранить на лице невозмутимое, царственное выражение, но Алексей видел, как блестят её глаза, как по-детски приоткрылся рот, ловя невесомые нити сахара, и понимал, что где-то глубоко внутри неё, под толщей веков, предрассудков и ледяного эльфийского снобизма, просыпается то, чему она так долго, так упорно не позволяла выйти наружу. Просыпается простая, живая, несовершенная и от этого ещё более прекрасная женщина.

Он смотрел на неё, и в его груди что-то больно, сладко сжималось. Она была так забавна в своей попытке сохранить остатки гордости, с этой розовой сладкой ватой в руке, с этими блестящими глазами и перепачканными сахаром губами. Ему хотелось подойти ближе, стереть сахар с её губ большим пальцем, поцеловать её, забыв обо всех правилах игры, обо всех пари, обо всём на свете. Но он сдержался. Всему своё время. Он понимал, что этот момент, такой хрупкий, такой ненастоящий, нельзя разрушать грубостью. Она должна сама прийти к нему. Или не прийти. Но он готов был ждать.

Затем была комната смеха с её кривыми, искажающими реальность зеркалами. Белла, увидев своё отражение — то непомерно вытянутое, как тростинка, то сплющенное, как блин, то с огромной головой и крошечным телом, — сначала недовольно поджала губы. Как посмело это жалкое стекло так надругаться над её совершенным, выверенным веками обликом?

Она привыкла видеть себя в зеркалах из полированного серебра и горного хрусталя, которые преломляли свет так, что любое отражение становилось произведением искусства. А здесь... здесь она была уродливой, смешной, абсурдной. Но когда рядом с ней встал Алексей, и их отражения слились в одну абсурдную, гротескную пару — длинный, как жердь, Алексей и круглая, как шар, Белла, — она вдруг прыснула.

Искренне, по-девичьи. А потом они скакали от зеркала к зеркалу, принимая нелепые позы, кривляясь, показывая друг другу языки, и в этот момент Белла почувствовала, как рушатся последние бастионы её вековой сдержанности. Это было глупо. Это было нелепо. Но, боже, как это было весело!

Она поймала себя на том, что больше не думает о том, как выглядит со стороны. Не думает о том, что скажут её вечно недовольные придворные дамы, если увидят её сейчас. Не думает о том, что этот простой смертный видит её слабость. Впервые за тысячелетия ей было всё равно. Она просто была. Просто смеялась. Просто жила. И это чувство свободы, это ощущение, что можно быть собой, не оглядываясь на мнение других, опьяняло сильнее любого вина из её древних погребов.

Потом они катались на каруселях, и Белла, сидя на белоснежном деревянном лебеде, чувствовала себя героиней детской сказки, о которых ей рассказывала когда-то её старая няня.

Она смотрела на проплывающие мимо огни, на кружащиеся в танце пары, на счастливые лица детей, и её сердце наполнялось странным, незнакомым теплом. Алексей стоял рядом, опираясь на расписную колонну, и улыбался, глядя на неё. Он видел, как её лицо, обычно такое холодное и отстранённое, смягчалось, как на нём появлялось выражение, которого он раньше не видел — выражение тихой, почти детской радости. И в этот момент он понял, что готов отдать что угодно, лишь бы это выражение появлялось на её лице чаще.

Они стреляли в тире, и Белла, к своему собственному изумлению, оказалась невероятно меткой. Вековая эльфийская ловкость, о которой она почти забыла в своём мире, где не нужно было ни в кого стрелять, проснулась в ней с новой силой.

Она сбивала мишень за мишенью, и Алексей, стоя рядом, только восхищённо качал головой. В награду она получила огромного плюшевого медведя, которого, несмотря на все протесты, заставила нести Алексея.

Он тащил его, неуклюже зажав под мышкой, и это зрелище вызывало у неё новый приступ смеха. Медведь был почти такого же роста, как Алексей, и смотрел на мир глупыми стек-

лянными глазами, словно удивляясь тому, что его оторвали от спокойной жизни на полке и куда-то волокут.

Вечером, когда небо окрасилось в густые фиолетовые, а затем и чернильно-синие тона, и парк окутала мягкая, бархатная южная темнота, прорезаемая лишь светом тысяч ламп, они поднялись на колесо обозрения.

Оно вращалось медленно, величественно, как огромное пряничное колесо, усыпанное сахарным бисером огней, как портал в другой, параллельный мир. Кабинка, уютно покачиваясь, плавно возносила их над землёй, отрывая от шума, суеты и проблем, и город внизу растянулся на многие километры, мерцая миллионами огней — тёплых и холодных, белых и цветных, далёких и близких, статичных и пульсирующих.

Белла прижалась лбом к прохладному стеклу, и её дыхание затуманило прозрачную поверхность, создав эфемерный ореол. Впервые за всё время их игры, их сложного танца, она позволила себе просто смотреть. Смотреть и видеть. Не анализировать, не оценивать, не пре-парировать, а просто впитывать эту красоту, словно губка.

— Это похоже на звёздное небо, — прошептала она, не оборачиваясь, и её голос был тих и задумчив, как дуновение ветерка. — Только наоборот. Будто звёзды упали вниз, разбились на миллионы осколков и остались там жить, пустив корни в асфальт. Будто небо перевернулось, и мы сейчас плывём по его дну, глядя вверх, на землю.

Она не добавила, что это зрелище напомнило ей дом. Её далёкий, невозможный дом, где небеса были такими же ясными и бесконечными, а звёзды — такими же яркими и холодными. Не добавила, что от этого внезапного сходства у неё предательски сжалось сердце, наполнившись щемящей, невыразимой тоской.

Не сказала, что в этот момент мир, который она так долго презирала, считая его примитивным и убогим, показался ей не таким уж чужим, не таким уж враждебным и, возможно, даже по-своему прекрасным. Она не сказала многого, но слова были не нужны. Тишина между ними была наполнена смыслом, как наполнен ароматом цветов. Это была не неловкая тишина, не напряжённое молчание, а та особая, глубокая тишина, которая возникает между двумя людьми, понимающими друг друга без слов.

Алексей всё понял. Ему не нужны были слова. Он молча сидел рядом, глядя не на раскинувшийся внизу город, а на неё — на её тонкий, словно вырезанный из лунного света профиль, на отражение ночных огней, танцующее в её глазах, на то, как менялось её лицо, смягчаясь, теряя своё вечное надменное выражение и открываясь чему-то новому, уязвимому, живому. Он видел, как в её глазах отражаются огни города, и в этих отражениях ему чудилось нечто большее, чем просто свет. Ему чудилась её душа — древняя, уставшая, но всё ещё способная удивляться и чувствовать.

Он видел, как она борется с собой, как пытается сдержать нахлынувшие эмоции, как сжимает губы, чтобы не расплакаться от красоты этого момента. И он не вмешивался. Он просто был рядом, давая ей возможность прожить этот момент так, как она хочет, не навязывая своего присутствия, но и не оставляя её одну.

И в этот момент, глядя на неё, такую растерянную и настоящую, он понял, что выигрывает. Не пари. Не какой-то глупый спор с друзьями. Он выигрывает её. Медленно, шаг за шагом, страх за страхом, улыбку за улыбкой. И это было страшнее и прекраснее всего, что он когда-либо испытывал в своей жизни.

Страшнее, потому что он сам не заметил, как перешёл черту, за которой игра закончилась. Прекраснее, потому что на кону теперь стояло нечто большее, чем его самолюбие. На кону стояла она. Вся. И он, кажется, был готов проиграть всё остальное, лишь бы увидеть, как она смеётся над кривым зеркалом, как тянется за сладкой ватой, как сжимает его руку на вершине мира перед падением в бездну. Лишь бы увидеть её настоящей. И в этом, как он теперь ясно осознавал, и заключался истинный смысл их третьего свидания.

Когда колесо обозрения сделало полный круг и их кабинка снова опустилась на землю, Белла вышла первой. Она обернулась к Алексею, и в её глазах было что-то новое — не привычное высокомерие, не снисходительная усталость, а тёплый, живой интерес.

Она протянула ему руку, и он взял её, чувствуя, как её пальцы, всё ещё немного дрожащие, сжимаются вокруг его ладони. Они пошли к выходу из парка, и Белла, всё ещё прижимая к себе плюшевого медведя, которым завладела сразу после тира, оглядывалась на гаснущие огни. Парк засыпал, и с каждым погасшим фонарём он становился всё тише, всё обыденнее, словно волшебство, жившее в нём весь день, уходило куда-то вглубь, пряталось до следующего дня.

— Спасибо, — тихо сказала Белла, и это слово, такое простое, такое человеческое, стоило в её устах больше, чем все её тысячелетние титулы. — Я давно не чувствовала... себя.

Алексей не ответил. Он просто сильнее сжал её руку, и они пошли дальше, оставляя за спиной парк аттракционов, но унося с собой его огни, его звуки, его запахи и то неуловимое, волшебное чувство, которое рождается только тогда, когда страх отступает и на его месте появляется смех.

Глава 4. Книжный магазин и споры о поэзии

Дождь начался с самого утра — не тот торопливый летний ливень, что обрушивается на город внезапно, яростно барабани по крышам, заставляя прохожих с визгом разбегаться по подъездам и магазинам, и исчезает через полчаса, оставляя после себя лишь свежесть, блестящую листву и ощущение мимолётного очищения.

Нет, это был совершенно иной дождь — затяжной, методичный, по-осеннему неторопливый и неумолимый, который, казалось, задался целью не просто омыть город, но размыть сами контуры реальности, растворить границы между предметами, превратить всё в единую серую, дрожащую субстанцию. Серая пелена окутала город с какой-то хищной настойчивостью, превратив его в размытый акварельный пейзаж, где автомобили плыли, как тёмные рыбы в мутной воде, а прохожие, спрятавшиеся под зонтами, казались безликими тенями, спешащими в никуда из ниоткуда.

Это был не просто дождь — это было методичное, терпеливое наступление осени, окончательно смывающее остатки летнего тепла и золота, напоминающее всем живым существам о бренности существования, о неизбежности перемен и о том, что ничто в этом мире не вечно, даже само время порой кажется иллюзией, сотканной из капель и тумана.

Капли барабанили по карнизам и тротуарам с монотонной настойчивостью, стучали по жестяным подоконникам, стекали ручьями по витринам, собирались в лужи, в которых отражались неоновые вывески, редкие прохожие и серое, низкое небо, похожее на растянутое над городом мокрое одеяло, из которого кто-то невидимый медленно выжимал последнюю влагу.

Город затихал, погружаясь в задумчивую меланхолию, воздух становился влажным, прохладным, пахнувшим мокрым асфальтом, прелой осенней листвой, сырой землёй и едва уловимым дымом от чьих-то каминов — тем самым запахом, который всегда заставляет человека вспомнить о доме, о тепле, о чём-то утраченном и невозвратном, о тех вечерах, когда он был ребёнком и сидел у окна, наблюдая, как дождь рисует свои бесконечные узоры на стекле, а мать на кухне готовила что-то тёплое и уютное.

Люди ускоряли шаг, прятали лица в воротники пальто, прижимали к себе сумки и пакеты, словно пытаясь защитить от стихии не только себя, но и свои маленькие повседневные заботы, свои покупки, свои зонтики, свои телефонные разговоры, которые они обрывали на полуслове, чтобы укрыться от дождя.

В такую погоду особенно остро ощущается хрупкость человеческого уюта, его трогательная, почти героическая попытка противостоять безразличной мощи природы, его наивное стремление создать островок тепла посреди вселенской сырости. И в то же время в этом есть что-то глубоко человеческое, почти трогательное — эта способность зажигать свет, варить кофе, читать книги и любить друг друга даже тогда, когда небо обрушивается на землю потоками ледяной воды.

Именно в такой день, когда сама природа располагала к созерцанию и неторопливым беседам, когда время, казалось, замедлило свой бег и застыло в вязкой, тягучей субстанции дождя, Алексей привёл Беллу в книжный магазин.

Это был не просто магазин — это был огромный, многоэтажный лабиринт, занимавший целое старинное здание с высокими потолками, украшенными поблекшей лепниной, с массивными деревянными балками, потемневшими от времени, и огромными арочными окнами, сквозь которые лился тот особый, рассеянный свет дождливого дня, наполняющий пространство мягким серебристым сиянием.

Внутри пахло бумагой, типографской краской, старым деревом стеллажей и кофе, доносившимся из уютного кафе на первом этаже, где бариста в зелёном фартуке колдовал над медной кофемашиной, и этот запах был настолько густым и насыщенным, что, казалось, его можно

было пить, как напиток, им можно было дышать, как воздухом, он обволакивал, проникал в лёгкие, смешивался с воспоминаниями и создавал то особое, непередаваемое состояние, которое бывает только в хороших книжных магазинах — состояние предвкушения, ожидания чуда, лёгкого волнения, как перед встречей с чем-то важным и неизведанным.

Стеллажи уходили вверх на три этажа, соединённые между собой узкими винтовыми лестницами и галереями, с которых открывался вид на бесконечные ряды книг, и где-то в глубине, в самых дальних уголках, горели тёплые лампы под зелёными абажурами, создавая островки света в полумраке этого бумажного царства.

Тишина здесь была особой — не пустой, а наполненной, живой, сотканной из шороха переворачиваемых страниц, приглушённых голосов, скрипа половиц под чьими-то осторожными шагами и бесконечного шёпота дождя за окнами, который звучал как колыбельная, как вечный аккомпанемент к тысячам историй, спящих на этих полках.

Белла вошла под его своды с видом королевы, снизошедшей до посещения деревенской ярмарки. Она была существом иного порядка, и это чувствовалось в каждом её жесте, в каждом повороте головы, в том, как она небрежно поправляла прядь волос, упавшую на лицо, в том, как её глаза — древние, знающие, видевшие то, о чём люди не смеют даже мечтать, — равнодушно скользили по корешкам книг, выстроившихся, как солдаты на параде. Она была прекрасна той особой, нечеловеческой красотой, которая одновременно притягивала и отталкивала, вызывала восхищение и смутное чувство тревоги, как вызывает тревогу всё, что выходит за рамки привычного, за границы понятного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.